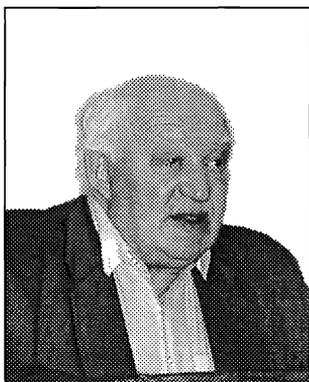


СЫН ДОКТРИНЫ

В.Л. РАБИНОВИЧ



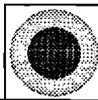
В 1984 году в России был опубликован под названием «Философский камень» (год написания 1968) роман замечательной французской писательницы Маргерит Юрсенар в блестящем переводе Юлианы Яхниной. Мне посчастливилось: я прочитал этот перевод одним из первых, еще в рукописи, потому что был научным консультантом текста перевода. (Моя книга «Алхимия как феномен средневековой культуры» вышла пятью годами ранее.) А главным героем романа как раз был алхимик и врач Зенон, живший в XVI веке на землях «северного Ренессанса» — во времена испано-нидерландско-фламандских распрей, чумы, восстания ремесленников и протестантских ересей. В том самом веке, когда «осень средневековья» сделалась глубокой и безлистой, а собственно алхимический миф был на излете. Да и «северный Ренессанс» вряд ли верно было бы считать таковым, если не терять из виду его всего лишь тезку — Кватроченто, сыгранного двумя веками до того. Но у романистки и алхимия, и ее романное время — XVI век — всерьез. Как-никак роман *исторический*...

*Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробираясь как в туман
От пролога к эпилогу.*

Но, — продолжает Окуджава:

*Каждый пишет, как он дышит,
Не стараясь угодить...*

Мне захотелось кое-что разъяснить из алхимического контекста романа и при этом рекон-



струировать образ алхимии как сюжетообразующий, а точнее, как физиологический раствор, в котором ожил в 1968 году XVI век с его алхимией, а в нем и в ней алхимик и врач Зенон, и все они вместе продолжили свои жизни в 2003 году, но не как исторически бытовавшие в своем времени, а как образы культуры в начале уже третьего тысячелетия.

*Какое время на дворе,
таков мессия.*

А. Вознесенский

История не переписываема, но... трансмутируема, пресуществима. Только в этом ее нескончаемая — каждый раз вновь начинающаяся — жизнь. Как, впрочем, и ее творца — Человека. Автора и соавтора купно.

* * *

Как уже сказано, в русском переводе название романа — «Философский камень», а в оригинале это «L'Oeuvre au noir».

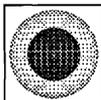
Дело (деяние, творение) к черному (во тьму, к ночи). *Оттуда и туда. Из света в тень*, сквозь тень. Делание сквозь тьму (по тьме, по черноте, по вычерненной тропе). Но непременно — в путь и по пути. Не алхимическая ли *стадия чернения*? Первая, но не последняя стадия. Черным по черному ради оформления (просветления?) хаоса. Как угодно, но только не *философский камень*. Ну, кому, спрашивается, помешал этот «L'Oeuvre au noir» и, напротив, понадобился «Философский камень»?

Вот как названы части этого романа: «Годы странствий», «Оседлая жизнь», «Тюрьма». С одной стороны, *этапы*, так сказать, *большого пути*. С другой, — сужение топосов-локусов: безграничие лет, дней и пространств; границы города (может быть, дома, монастыря и обозримой округи); и, наконец, квадрат тюремной камеры, в коей «квадратик неба синего» ничего хорошего, кроме близкой смерти, не обещает. Одним словом, путь. Да и он какой-то разнонаправленный: из города в город, — это один вид пути, а вот в оседлости — это совсем другое дело: путь вовнутрь, но и вовне: в себя — из себя. А уж в тюрьме, — может быть, только в себя — в глубь?

А теперь вчитаемся в эпиграфы каждой из частей.

«Джованни Пико делла Мирандола (1463 — 1494), гуманист и мыслитель итальянского возрождения, участник кружка Лоренцо Медичи и Марсилио Фичино. В речи «О достоинстве человека» (введение к его «900 тезисам») Пико обращается к Адаму, как если бы он был Бог: «Я поставил тебя в средоточие мира, дабы тебе виднее было все, чем богат этот мир... дабы ты сам, подобно славному живописцу или искусному ваятелю, завершил свою собственную форму...»

Эти слова взяты из эпиграфа, предваряющего «Годы странствий» Зенона, годы, отметившие путь героя. Назначенные обжить во времени пространства значительной части своей жизни, обретающей форму самой себя как произведения, эти года становятся *текстом жизни*. Эстетически обозри-



мым (=самообозримым) текстом (картиной, скульптурой...). Но... на фоне всей жизни — мироздания. И не только на фоне, но и в нем самом. Микро-макроскопически. Время и пространство *от...* и *до...* Но и с остановками для осматривания складывающейся формы по ходу сложения самого себя как формы — самоформообразования как *жизни текста*.

«Оседлая жизнь» предварена алхимическим императивом:

«Идти к темному и неведомому через еще более темное и неведомое».

Автор анонимен, и потому этот эпиграф претендует на алхимически потаенную архетипическую универсальность пульсирующего — точно-го (внеисторического) — частного времени: становление, но и расшатывание самого себя — саморефлексия себя самого в себе же самом; во внешней неподвижности оседлой жизни, но в броуновском коловращении жизненных ритмов как бы состоявшейся — ставшей — формы, в фиксированном пространстве и фиксированных квантах времени. Но... и в этом случае в пути: в потемки из потемок. В ночь — к ночи — в еще более кромешное. (Не к ночи будет сказано.)

И, наконец, эпиграф к «Тюрьме». Вот строки из него (из стихотворения Джулиано Медичи):

*О, скольким смерть спасенье подарила!
Однако трусу не дано понять,
Как сладостно порой влечет могила.*

(Перевод Е. Солоновича)

Пространство сжалось до тюрьмы (точнее: до тюремной камеры). Время вот-вот пресечется (точнее: пресечет его тот, кто его своею жизнью и длит). Он-то и станет *дизайнером* собственной *жизни* тем, что ее же и завершит. Высветлит — вытемит. Причем темнее (=светлее) не бывает.

Стадия чернения, или «Десяние к ночи», завершается.

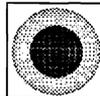
* * *

Но как этот сюжет смотрится в исторически сыгранном алхимическом театре?..

Theatrum Chemicum. ТЕАТРТАЕТ (палиндром Елены Кацюбы).

Алхимия ушла в историческое небытие, но странным образом вошла в *сейчас*, пусть и во всей ее курьезной всецелости, если только читать ее в топике припоминания и утопического предвидения, как и полагается поступать со всяким уважающим себя *хронотопом*. Это отступление делается мною в надежде пустить алхимическое прошлое в дело, затеянное мною к прояснению «тьмы» романа. Приспособить к *делу тьмы*...

Theatrum Chemicum не тает,
Поскольку что-то в нем таят..
Не ртуть ли с серой сочетают
И по-латински говорят?



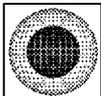
Так думал молодой повеса,
 Ступая по стопам Гермеса,
 Включая в рампах тайный свет
 Под наблюдением планет.
 О, calcinatio — ты Овен!
 Coagulatio — Телец!
 Solutio — начал конец!
 Ficsatio — корпускул ровены!
 А варка — costio зовется.
 Лишь Львам все это удаётся.

Еще не все... Mater'ья liqua
 Для дистилляций хороша.
 Она не сауна, не миква,
 Зато легка, как entrechat.
 А sublimatio — возгонка.
 Весы ей правят. Дело тонко...
 Для сепарации нужна,
 И потому зело важна.
 Seratio восходит к воску.
Быть иль не быть? Вот в чем вопрос,
 Как вдруг возник Уроборос
 И бросил в печь фермента горстку.
То стан совет, то разовьет,
 А то совсем наоборот.

Последние ступени Королевского искусства, как и положено, остались за кулисами. Это multiplicatio (умножение), а также бросание (projectio) — активное «физико-химическое» соприкосновение с трансмутируемыми металлами. Вершится под эгидой Рыб. А я — как раз Рыба. И потому все это вершу я — неоалхимик и главный режиссер.

Theatrum Chemicum. Так называется первый фундаментальный корпус латинских алхимических текстов, впервые увидевший свет в 1602 в Урселе (в четырех томах). Переиздан в 1613 году в Страсбурге тоже в четырех томах. Дополнительный — пятый — том вышел в 1622 году. Наиболее полное издание этого корпуса (в шести томах) осуществлено в 1659 — 1661 годах. В пору исторического избывания алхимии. Какова же драматургия в этом театре?

Сценический герой — вещество, но вещество смертно-живое, проходящее путь *рождений — умираний — воскрешений*. От несовершенства к совершенству, от схваченного порчей свинца к беспорочному золоту. Это путь двенадцати ступеней Великого деяния в театре действий: от первого акта к двенадцатому под воздействием заданных внешних обстоятельств. Как водится на театре...



Но кто сказал, что свинцу непременно хочется стать золотом?! Почему театр в этой своей драматургии действия не берет в расчет *свинцовость* свинца, пренебрегая тем самым его *самостью*?

И здесь, если это так, должна начаться другая драматургия: внутриэнергетическое самопросветление свинца, выявляющее его же свинцовость: в точечном — пульсирующем — времени собственной его жизни усилиями его самого. Не переодеванием, пусть даже искусно незаметным, а пресуществленным, чудодейственным образом: его самого в его же самого. Сущностно самого.

Но это уже совсем другая драматургия. И она тоже в этом же театре (наряду с движением свинца к золоту). Это цвето-световые превращения живого вещества (любого), значимого самого по себе.

И тогда это уже театр одного актера, или, как у Фета, «ряд волшебных изменений милого лица». (Вспомните колонну из чистого железа в Индии, столько веков не ржавеющую!) Железо и свинец в своей железности и своей свинцовости, волк в своей волчиности, а змея — в змеиности. Но совершенной змеиности и безукоризненной волчиности.

И тогда *театр* и в самом деле *тает*, избывая себя в алхимическом театре. Но только для XXI века ввиду времени действия и действительности полнобгтийственного мига жизни человека на Пути к себе, а не куда-нибудь... Но и куда-нибудь тоже: в сияющую даль. К себе, но и от себя. Купно. Вот какой этот театр.

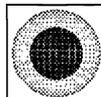
Какой же слоган изобразить на черно-золотом занавесе алхимического театра? Может быть, такой: *Lapidum Philosophorum*, или *краеугольный философский камень преткновеня у Христа за пазухой*?

* * *

Трансмутация металлов, а в ней и ее управителя — адепта и демиурга — представляет историческое время как свершение двух времен: исторически-линейного (оттуда и туда) и личностно-творческого, пульсирующего — времени личностного самосовершенствования. Так сказать, «судьбы скрещенья» (*Пастернак*)... Точнее, — судеб: безлично линейной судьбы вещества—естества и гейзероподобной судьбы естества—существа. А вместе — судьба в скрещении двух судеб, ставших овеществленной *жизнемыслью*. Овеществленной — одушевленной. Вочеловченной. Конгениальной макроструктуре романа.

Еще раз — в путь по роману. Вслед за алхимикоподобными трансмутациями его героя Зенона, который сам же себе — *философский камень: краеугольный, преткновеня и... у Христа за пазухой*. Еретически влекущий, но... во имя *добротолубя* на пути к себе как безусловному богоравному абсолюту. В тисках доктрины, но и... выбросах из этих тисков, как и надлежит *жить-быть блудному*, но и *возвращающемуся сыну* доктрины. Как в палиндроме ТЕАТРАЕТ.

Два брата. Почти ровесники.



А н р и - М а к с и м и л и а н (по воле жизненных волн и при начале):
«... я хочу стать человеком».

З е н о н (в тисках университетской — доктринальной — мушгтры, учась на алхимика-врача): «Я же хочу стать выше человека».

А н р и - М а к с и м и л и а н: «Кто ждет [тебя]?»

З е н о н: «Ніс Зено. Я сам».

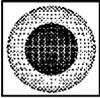
Намечается путь к самому себе. С верою в себя же. Можно странствовать, бродяжа и отвлекаясь, а можно — «остановиться, оглянуться» и... вновь впереясы в себя. А в кого же еще, если им же и декларировано: «Я верую в того бога, который произошел не от девственницы и не воскрес на третий день, и чье царство на земле»?!. Царство *Черной земли*. Не *первоматерия* ли алхимиков, которую следует приуготовить с истовым тщанием, высветляя в ней совершенное: в неблагородном благородное, золото в темени души с помощью *философского камня* (*эликсира, панацеи, медикамента*), *ртутно-серным* вещественно-одушевленным андрогином, самим собою по ходу дела (=по ходу жизни) совершенствующимся: сквозь черное — по еще более черному — к зеленому — красному... Золотому.

Алхимия, хотя и несколько иная алхимия. Целительная, врачующая, над которой в Зеноновом XVI веке уже посмеиваются. Да и для Зенона алхимия златосереброискательская на периферии. В центре же, то есть в нем, — алхимия иная. *Великое деяние* самостроительства, назначенное пресуществить субстанцию вещей (включая и его самого как одушевленную вещь). Умерить жар души. Иначе: приручить огонь, подружиться с ним. Чтобы «стать выше человека». Но не «государем всея действительности», потому что и «литавры славы», и прочие фимиамы ему не нужны. Ведь они из человеческого мира, а его чаемый мир — выше человека.

Итак, не *аурификация* (имитация под золото), а скорее — *аурификация* (метафизическое совершенствование). Не золото-металл, а золото души. Новое миротворение в соревновательности его с Богом.

Но так ли уж надежна и целесообразна жизнь, подчиненная доктринальным установлениям? Лечишь-лечишь по строгим регламентациям, а больной умирает. Более того. В один прекрасный день Зенону-врачу сделалось безразлично, выздоровеет больной или... Лишь бы проверить правильность метода и удостовериться себя в правильности прогноза или, напротив... Нужно много проб и много опытов. Почти как у того алхимика из «Фауста» Гете. Фауст так рассказывает Вагнеру о своем отце — алхимике и враче:

*Алхимии тех дней забытый столп,
Он запылся с верными в чулане
И с ними там перегонял из колб
Соединенья всевозможной дряни.*



*Там звали «Лилиею» серебро.
«Львом» — золото, а смесь их — связью в браке.
Полученное на огне добро, «Царицу»,
Мыли в холодильном баке.
В нем осаждался радужный налет.
Людей лечили этой амальгамой,
Не проверяя, вылечился ль тот,
Кто обращался к нашему бальзаму..*

Конечно же, едва ли кто... Потому что, если *Лев (красный)* — *ртуть*, а *Лилия* — *хлор* (или содержит его), то *Царица* — их соединение — не иначе как *сулема*, от которой просто-таки неловко не отправиться к праотцам. Понимая это, Фауст так завершает свой рассказ:

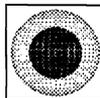
*Едва ли кто при этом выживал.
Так мой отец своим мудреным зельем
Со мной среди этих гор и по ущельям
Самой чумы похлеще бушевал.*

Зенон, конечно, безотцовщина. Но, в отличие от отца Фауста, он не просто алхимик-любитель, а ученый алхимик. И потому истинный *сын* истинной (?) *доктрины*. Неукоснительной? Нет! Доктрины, дающей сбои. А какая же это, извините, доктрина, которая дает сбои?!

Но... пытливым ум Зенона. Чем этот ум должно утешить? *Зенон*: «Умру чуть меньшим глупцом, чем появился на свет». И здесь-то как раз нужен личный опыт, потому что слово зыбко и эфемерно, а опыт определенной и доказательней.

Но... «самой чумы похлеще бушевал». А чума — это уже из области жизни (хотя и смерти), а не из области доктрины: «... чума вносила в жизнь людей привкус бесстыдного равенства, едкое и опасное бродило риска». Это уже отнюдь не доктринальное законье, а самая настоящая жизнь в полихромных *капризах разночтений*.

Но ведь и аналогии в доктринальном мире символически-знаково удваивают (умножают) мир, полнят его уподоблениями: «Легкое — это опахало, раздувающее огонь, фаллос — метательное орудие, кровь, струящаяся в излуцинах тела, подобна воде в оросительных канавках в каком-нибудь восточном саду, сердце — смотря по тому, какой теории придерживаться — либо насос, либо костер, а мозг — перегонный куб, в котором душа очищается от примесей...» Ради очищения души, хотя бы и умерло тело. Целительная алхимия, отраженная, однако, в образах алхимии златосереброискательской: *духовно-вещественный космос*. Что здесь возвышенной, а что приземленной — уже не ясно. Но... «опахало, раздувающее огонь»; но... «костер»; но... *беспримесная душа... Дружить с огнем. Читть* (хотя уже и не *читать*) кни-



ги французского алхимика Николая Фламелья (1330 — 1418). Быть *фламенным* и *фламенно* жить¹!

Здесь же, недалеко, — металлопланетная симвонология: железо — Марс, медь — Венера, свинец — Сатурн, серебро — Луна, золото — Солнце. *Ртуть — Соль — Сера*. Брак *мужского* и *женского*. Соль — Солнце и вновь... соль, которую растворяют, а раствор дистиллируют, и так — далее... Многообразие аналогий вновь ведет к сдвигам определенностей, броуновской хаотичности, выбросам из неизбежной доктрины. То есть в «научную», но все-таки жизнь. Но и здесь в виду двойного зрения (и двойного чувствования); с одной стороны, *дело это делает рука*, с другой — *деяние это творит десница*. Кто и что победит и чья возьмет? *Сын доктрины* или *вольный сын эфира*..

Постранствуем и повременим еще. Расщепим пространства и времена лет. И посмотрим, разочаруют ли нашего героя аналогии или как-то все само собою утрясется и уляжется? Но... не утрясается: «Унция инерции перевешивает литр мудрости». Если сказать по-иному, то унция опытного (физико-механического) перевешивает литр спекулятивного (то есть того, что, так сказать, *из общих соображений*). Радикальное крушение чисто алхимического: «Возьми, сын мой, три унции ртути и столько же унций злости». Гениально и... поровну. А в случае с Зеноном — ближе к земле, *черняди*, дабы просветить темь. Из доктрины в жизнь. Через опыт, но с определенной количественно-измеримой целью: *узнать сегодня более, чем знал вчера*. Вновь неравновесие, и потому вновь ущерб для доктрины.

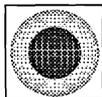
Но... движемся по закоюню и по дорогам времени, когда *я здесь, а меня уже ожидают там*.

Что же там за окном такого?

Жанетта. Эта «обольстительница лунной ночью прокралась в дом, где он (Зенон. — *В. Р.*) жил, бесшумно поднялась по скрипучей лестнице и скользнула к нему в постель. Зенона поразило это гибкое, гладкое тело, искусенное в любовной игре, эта нежная шейка тихонько воркующей голубки и всплески смеха». И что дальше? А дальше — как всегда: «... уже через неделю он снова с головой ушел в книги». Сам ушел. По влечению, или же ведомый долгом — в мир доктрины? Этого мы в точности не знаем, но знаем только, что «Зенон позавидовал бродяге: тот волен поступать, как ему вздумается».

Вивина. «Она стояла перед ним — чистый, пресный ручеек... он (опять-таки Зенон. — *В. Р.*) снял тоненькое серебряное колечко, которое когда-то получил в обмен на свое от Жанетты Факонье, и, словно милостыню, положил его на протянутую ладонь. Он не собирался возвращаться. Он бросил этой девочке всего лишь подачку — право на робкую мечту». А

¹ Flamen — дуновение; flaminis — фламин, жрец; flamma — пламя, огонь (лат.)
Прим. ред.



ему — меж страниц ученой книги — Вивина вложила веточку шиповника. А Зенон, студент из Монпелье, даже и не заметил этого.

Живая жизнь как бы между прочим. *Знание*, хоть оно еще и не вполне *сила*, все-таки важнее. Доктринальное, неукоснительное знание. А все иное — любовно-неосмотрительное, набеглое и просто так.

И в то же самое время тот же Зенон скажет: «Да разве ж я стану вести себя, как тот осел Сервет, чтобы меня прилюдно сожгли на медленном огне ради какого-то толкования догмы, когда я занят диастолой и систолой сердца и эта моя работа куда важнее для меня».

Огонь здесь — не друг. И догма чужая. И Зенон — просто безбожник. Но у него своя догма и собственная доктрина, обеспечивающая жизнь его, Зенона, *познающего ума*. Поступится ли он этой — *своей* — догмой?

До конца жизни еще далеко...

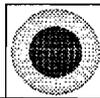
А пока уж коли *земля вертится*, то она вертится. И эта истина — пусть даже и не беспрекословная — сильнее священного слова.

А жизнь все же хороша, и жить в этой жизни тоже не так уж плохо. Не знаю, как для Зенона, а вот для Анри-Максимилиана точно. Анри-Максимилиан рассказывает про своего родственника Сигезмонда Футтера, который, умирая, «приказал остричь волосы своим невольницам и настелить ими его ложе, дабы испустить последний вздох на этом руне, от которого пахло корицей, потом и женщиной». Женщиной!.. Но Зенон тут же *катастрофически снизил пафос* своего живяльного собрата: «Хотелось бы мне быть уверенным, что в этих прекрасных прядях не было паразитов... и мне случилось в минуту нежности выбирать насекомых из черных кудрей». Моментально все пропало — женщина и запах корицы...

Быть в доктрине, хотя и не фанатично. Но и — обращать внимание на жизненное, *не* доктринальное, хотя и не дурманя себя до помрачения ума вольной волей животворящей недоктринальности, исполненной удивительно приятственных несовершенств, влекущих к бесшабашным неосмотрительным шалостям. Просто *любви*... А его дружок Анри-Максимилиан просто все это любил. «Так и надо жить поэту» (А. Тарковский). А доктринеру так жить нельзя. Так вот и жил Анри-Максимилиан: «... любил шататься по улицам, переходя из тени на солнце, любил окликнуть на тосканском наречии красотку, которая может одарить поцелуем, а может и осыпать бранью, любил пить воду прямо из фонтана, стряхивая с толстых пальцев капли воды на запыленные плиты, или краем глаза разбирать латинскую надпись на камне, справляя возле него малую нужду».

Конечно, все это нравилось и Зенону, но жизни своей за такую вот жизнь он бы не положил. А за доктрину многознания?.. Проверим это в его оседлой жизни на излете странствий лет...

А из кармана убитого в военной стычке Анри-Максимилиана торчала его рукопись «Геральдика женского тела». А вот от Зенона, не начавшего еще главного своего пути — пути к себе — в оседлой своей жизни, оста-



лось бы иное: сентенции о человеке как механико-анатомическом объекте, где «легкое — это опахало, раздувающее огонь, фаллос — метательное орудие...» И далее — по уже цитированному тексту.

Здесь-то и начинается путь к себе в топосе оседлости и в пристальной работе врачом, одетым в уже достаточно потрепанный бутафорский хитон.

В ситуации оседлой жизни странник Зенон, взыскующий окончательной истины, проблескивающей сквозь темь хаоса, уже не Зенон, а псевдонимный Себастьян Теус.

Пространство окуклилось в конкретный топос города; а если точнее, то в христиански освященную богадельню, где надо лечить увечных и немощных богоугодно-экспериментальным врачеванием. Оседлость как образ жизни сжалась в точку, в которой свершились *повсюду* и *нигде*. Но столь же плотно свершились *всегда* и *никогда*. Истончилась граница меж *вчерашним* и *сегодняшним*. Но пространства, искушающие и влекущие, — вот они здесь и рядом. Только оглянись... Рядом и здесь. А в них, в этих пространствах — блуд. Изощренный, аномальный. И в этом смысле *гротескный*. И потому *пробуждающий чувственность*. Она-то и подстрекает выйти из доктрины. Но... вновь: «виденное ранее» и «вот оно» отождествлялись.

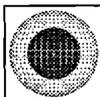
Но и внутри самой доктрины — непорядок: золотая алхимическая греза и прямой обман в виде украдкой подложенного в алхимический тигель самим адептом золотого дуката.

Потребно еще большее сосредоточение на самом себе, на собственной мысли. *Задержать мысль как дыхание*. Или: *расслышать шум колес и не заметить их вращения*. И снова: из мира идей — к плотной субстанции, когда *уния наблюдения дороже тонны вымыслов*.

Доктрина, которой Зенон был верен большую часть своей жизни, пошатнулась. А встречать в распрю *между требником и Библией* — по-прежнему не для него. Но также не для него застопорить свою мысль, если припрут, для того, чтобы выбрать между ортодоксально *бессмысленным Да* или еретически *дурацким Нет*.

Но... чувственные страсти. «Плотоугодие». И оно духовно, «потому что мир так называемых низменных ощущений связан с самым тонким в человеческой природе». И это *самое тонкое* Себастьян Теус профессионализирует. Отказавшись от собственного имени и став «общезначимым» Теусом, бывший Зенон, переспав с влюбившейся в него девственницей, считает своим долгом лишь «улучать и утешить ее», а не любовно приласкать. И даже никакого *торжествующего чувства победы*. И потому без тени сожаления отпускает ее в путешествие с французским священником.

Между тем настоящее полнится минувшим. Прошедшее выступает как *настоящее прошедшего*, а будущее как *настоящее будущего*. Самое же сиюминутное настоящее и прошедшее, понятое как история, собственной цены не имеют. Лица сливались «с безмянностями минувшего» как разные лики одной и той же субстанции. Христианство, иудаизм, магометанство вообража-



ются Себастьяну Теусу, уже не уверенному в праве на собственное имя, «триединой ложью»: «Я один и многое во мне» («Unus ego et multi in me»).

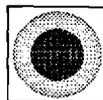
Всматриваясь в цифры, складывающие текущий год — 1491, Зенон случайно прочитал его как 1941 и понял, что он «ступал по собственному праху».

Тайна магии окутала его силою вещей, и Зенон сделался невидимкой. (Точнее: Себастьян Теус пребывал в собственной оседлости, хотя и пошатнувшейся).

А что происходит в это время с магиико-алхимической, взыскующей окончательной истины, доктриной? Или: какая доктрина все же удерживала его и крепко ли?

«Мое ремесло — лечить», — декларирует Зенон. Но под присмотром алхимических предписаний, сродственных алхимическому целительству, то есть освобождению больного металла (=больного тела) от порчи естественной или благоприобретенной. Ведь *медикамент*, как уже сказано, — синоним *философского камня*, получению которого предшествует приготовление *материи камня* путем нагревания и соединения *философской ртути* и *философской серы*; то есть *чернения* («гниения») сквозь темень к темени еще более темной. Это и есть *opus nigrum* (*черная стадия*). Точительно продолжительная. Тожественная приуготовлению себя к грядущим рукотворным чудесам, призванным преобразовать несовершенное в совершенное (вовне); но и внутри: совершенствование собственной души, а значит, и миросовершенствования собственной активностью в этом пока еще несовершенном мире. Под стать основателю герметики Гермесу Трижды Величайшему (по преданию, V — IV в. до н.э.). Но если у Гермеса «все, что внизу, подобно тому, чтоверху» («Изумрудная скрижаль»), то Зенон обходится «без верха». Он только в земном. Не потому ли притязания Зенона скромнее (еще раз: «Мое ремесло — лечить»)?

Далее. Алхимический императив «solve et coagula» — «растворь и сгущай» — казалось бы, чисто операциональный и вправлен в ряд двенадцати операций алхимического дела. Назову их все: *кальцинация* — обжиг; *коагуляция* — затвердевание жидких веществ; *фиксация* — превращение летучих в нелетучие; *растворение* — прием разделения веществ; *варка* на медленном огне; *дистилляция* — освобождение жидких веществ от примесей; *сублимация* — возгонка сухого вещества острым пламенем в закрытом сосуде; *сепарация* — отделение взвесей от жидкости (фильтрация, сцеживание); *размягчение* — обращение твердого вещества в воскообразное состояние; *ферментация* — брожение; *умножение* — увеличение навески философского камня; *бросание* — «физико-химическое» касание философского камня «исцеляемых» металлов. Этот порядок представлен французским алхимиком Бернаром Тревизаном (1409 — 1490) — современником нашего героя. (Здесь впору вспомнить пародийную лестницу алхимического делания, коим начато мое первое отступление в мир герметики).



Обратите внимание: solve и coagula у Тревизана стоят в обратном порядке. У Зенона же — вновь к чернению, а у Тревизана — *только* вперед. К совершенству. От чернения через омовение к рубификации (покраснению) и далее — к ясному и золотому: красно-желтому, кровавому, солнечному. А у Зенона — вновь и вновь к началу. К пресуществлению, свхаристии. К Иисусу Христу (=философскому камню). И потому ни к тому, ни к другому. Двойная крамола: по отношению к братьям-герметистам и к братьям во Христе. *Между*. И здесь, и там. А точнее: ни там, ни здесь. Но... в предположении *вечного*. В ожидании полноты чуда, когда на часах *без пяти минут вечность*. Или так: стрелки, сцепившись, стоят, а часовой механизм тикает. Пульсирующее время мысли. Жизнемысли. Время творения, которое всегда *при начале*. При множестве идей: «Ненавижу человека одной книги» (Зенон).

Автор и материал творят друг друга. Первоматерия и первомысль взаимопересотворимы. Слово *творящее*, оно же и *творимое*. «Я пью, и я пью» (из гностического текста).

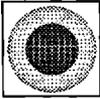
А за окном его клиники-лаборатории все свидетельствует о том, что все *моральные категории осквернены грязной плотью и выкрашены кровью невинных*.

Но... пленительный блуд греховодников в заброшенных банях (рядом с лечебницей Зенона-врача). Там трансмутируется плоть: *свечение* обнаженных тел. Чистое сияние *серебра* старинной черни, пребывающего в одном шаге от *золота*, которое вот-вот... Потому что почти в реальности. И потому почти в реальности, что иносказания типа *Молока Богородицы, Черного Ворона, Зеленого Льва, Соития Начал*, отлетев в оккультное небытие, как знаки пресуществились в то, что они знаменуют. *Сказались вещами* всего мира.

И тогда живое — *едино* живое: *сдох* (про животное) и *умер* (про человека) должны звучать одинаково — *умер*. Равно как *забить* и *убить* должны звучать тоже одинаково: *убить*. Тогда будет восстановлено *священство* всего *живого*. И тогда же *лично* пресечь свою собственную жизнь предстанет лично ответственным актом суверенного владельца своей же суверенной жизни. Exitus rationalis. Выход из доктрины в пространства и времена, текущие сами по себе. Но времена и пространства, осознанные таковыми в «смертный час» самоисчерпаемости доктрины.

* * *

Mors philosophica (философская смерть) неумолимо приближается к смерти натуральной, которой предшествует ars moriendi (искусство умирания), а *философский камень* как принцип вновь становится живым Зеноном. И *философский камень* вовсе теперь уже не при чем. Зачем он нужен, если грядет смертный час, а в этот час не только не страшно, а как-то даже естественно назвать собственное свое имя — Зенон?! Что он и делает, когда сыщики инквизиции волокут его в тюрьму — в это последнее, совсем уже точечное пространство, где все оставшиеся его *дни* и в самом деле *без числа*.



Сейчас речь пойдет об этой — последней — части жизни (или точнее: *vita mortua*) Зенона — Теуса — Зенона.

И эта речь в высочайшей мере всерьез. Мысль и слово Зенона, пришедшего к самому себе: из тьмы к еще большей — крошечно смертной — тьме, и остановившегося у порога смерти.

Но прежде вновь к началу. Еще раз... Зенон начальный: «Да разве ж я стану вести себя, как тот осел Сервет, чтобы меня прилюдно сожгли на медленном огне ради какого-то толкования догмы, когда я занят диастолой и систолой сердца и эта моя работа куда важнее для меня». Зенон тогда, в самом начале, — враг церкви, или, что то же, обыкновенный безбожник. Только еще не раскрывшийся. Взять под наблюдение можно, но брать еще рано. А вот спустя жизнь — взяли. Пространство сузилось до размеров маленького квадрата тюремной камеры. Время норовит остановиться *почти* у вечности. Так сказать, *над вечным покоем*. Если совсем коротко, то: «Квадратик неба синего и звездочка вдали...». Но и та вот-вот погаснет, а квадратик синего неба почернеет. Не *стадия ли чернения*, растянувшаяся на жизнь? И далее — *навезде и навсегда...*

Может быть, в этот час тем более следует, так сказать, *поступиться принципами*. Ради жизни. Но какой жизни?..

Впереди костер, а с ним боль от огня; боль, причиняемая с умыслом. Впрочем, и хирург тоже делает больно, но во благо. А здесь с дурным умыслом. Вот в чем вся мерзость!

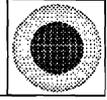
И дело не в собственно крамоле, а в том, что гонителей, мучителей и улюлюкающую толпу снедает зависть к тому, кто иначе мыслит. Он, видите ли, а не я мыслю, и притом иначе.

Он маг и заправляет сверхъестественным (это в глазах невежд и глупцов), а в глазах священников тем самым отрицает чудо. И тогда в поле магического (а это поле — все пространство) для личной власти бога не остается места. Ведь магия — это и ритуалы, и бой барабанов, и черные эшафоты, злонамеренная порча и магнит приворотной любви...

В магическом — суеверия и скептицизм в глазах общественности перемешались. Но главное — скептицизм. И тогда, чего доброго, маг-чернокнижник может выставить на показ *невидимое* и объяснить *необъяснимое*. В ярких сполохах алхимического завораживающего многоцветия: зеленого — пурпурного — белого, проступавших из крошечности алхимической *черняди*. *Похоть* прикинется томлением по *деторождению*, *безграничное* обернется *бесконечным*, *Ignis noster* (наш огонь) предстанет *адскими пламенами...*

Но вместе с тем, *Великое деяние* как совершенствование души... Чем не богоугодное дело?! И тогда можно и простить? Но простить за так или все же сжечь? Но смерть — меньшая победа над ересью, чем хотя бы полураскаяние. Так думали судьи.

А что при этом Зенон?



Человек опыта, Зенон знает: «Non cogitat qui non experitur» («Кто не производит опытов, тот не мыслит».) Но каждый новый опыт каждый раз начинается с нуля... И сейчас это смертельный номер (=опыт). А толпа, если это будет публично и заживо, будет улюлюкать и топотать. Потому что *человека губят люди.*

Можно было бы выйти из доктрины в жизнь. И полуотречься. Или вовсе отречься. Но ради чего? В работе с диастолой и систолой заранее известно все. Жизнь прожита. И пусть тебе под 60. При сыгранности жизни в 60 — это все равно, что под 70, а то и под 80. Под все 100. Но в законе и раньше живое — любовное, девичье, женское (то есть теплое, жаркое и телесное) не очень-то интересовало Зенона.

Для кого жить? Не для кого... Иное дело, когда есть для кого:

*А современник Галилея
Был Галилея не глупее:
Он знал, что вертится Земля,
Но у него была семья.*

Евг. Евтушенко

В доктрине делать нечего. А в не-доктрине не интересно, потому что не для кого. Нет любви. Вот в чем дело.

Сказать «бессмысленное Да» или же «дурацкое Нет» — глупо и бессмысленно в равных долях. А прервать фактически прожитую жизнь означает все-таки свершить ее как текст (=произведение?).

Не алхимический ли текст — мастерский и искусный? И не впускать при этом никого в свой темный, потаенный мир.

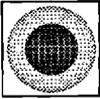
Голос из XX века:

*А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады.
И не пускает на порог
Кого не надо.*

Б. Пастернак

Текст как мироздание или мироздание как не-священный текст, или как собственная, лично выстроенная судьба? Текст этот — сам Зенон и есть, добившийся освобождения своею собственной рукой. В прямом смысле этой жутковатой строки — лезвием по венам. В последний раз побывав хирургом по собственному к себе же вызову. Как Мастер и Артист. Выступивший по делу, за коим точнее регламентированное доктринальное умение. Артист, переживший «...великие минуты хирургических свершений». Мастер!..

Пред тьмой вечности Зенон «... вперился взглядом в пустоту. Время и мысль оцепенели, как посреди урагана, бывает, настает вдруг зловещая тишина». И — далее: «Стиснув ладонями челюсти, стараясь дышать размерен-



но, чтобы унять сердцебиение, он наконец подавил бунт собственного тела», провидя «сродство тлена и жизни». Соображая насчет «вечной воды», Зенон смочил лицо ледяной водой, слизнув каплю языком. Откуда-то зазвучал хриловатый и ласковый голос брата Хуана: «Отойдем ко сну, сердце мое».

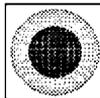
Душа и кровь покидает тело одновременно. Не есть ли кровь и душа одна субстанция, только в разных обличьях? Личность отбывает в свое же естество (предсуществование).

«Торжественность смерти».

Вот как это было: «Могучий гул уходящей жизни все еще продолжался — ему помыслился фонтан в Эйюбе, журчание бьющего из земли ключа в Воклюзе, в Провансе, река между Эстерсундом и Фреше, хотя вспоминать их названия ему не пришлось. Он часто и шумно глотал воздух, но дыхание было поверхностным, воздух не проникал в грудь: кто-то, кто был не вполне тождествен ему самому, поместившись слева, позади него, равнодушно наблюдал судороги этой агонии. Так дышит, достигнув цели, обессиленный бегун. Стало темно, но он не знал, где эта тьма — внутри него самого или в комнате: мраком оделось все. Но и во мраке происходило движение, одни сумерки сменялись другими, бездна — другой бездной, темная толща — другой темной толщей. Однако эта тьма, не похожая на ту, какую видишь глазами, искрилась разноцветьем, порожденным, так сказать, самим отсутствием цвета: чернота становилась мертво-зеленой, потом оборачивалась чистой белизной, бледная белизна переходила в багряное золото, хотя при этом первородная чернота не исчезала, — так след звезд и северной зари мерцает в ночи, все равно остающейся непроглядной. На мгновенье, которое показалось ему вечностью, алого цвета шар затрепетал то ли в нем самом, то ли вовне, кровавая море. Словно летнее солнце в полярных широтах, сверкающий шар, казалось, колеблется, готовый склониться к надиру, но вдруг незаметным рывком он поднялся в зенит и, наконец, истаял в ослепительном свете дня, который в то же время был ночною тьмою.

Он больше ничего не видел, но внешние звуки еще долетали до него. Как когда-то в убежище Святого Козьмы, в коридоре послышались торопливые шаги — это тюремщик заметил на полу черноватую лужицу. Случись это немного раньше, умирающего охватил бы ужас при мысли, что его силой вернут к жизни и ему придется умирать еще несколько часов. Но теперь все тревоги отступили — он свободен; человек, который спешит к нему, — это друг. Он попытался — а может, ему показалось, что он пытается, — подняться, не вполне сознавая, ему ли пришли на помощь или это он должен кому-то помочь. Звон ключей и скрежет отодвигаемых засовов слились для него в один пронзительный скрип открываемой двери. И тут наступает предел, до какого мы можем следовать за Зеноном в его смерти».

Алхимические трансмутации видов и образов, сопровождаемые трансмутациями цветовыми, обрели здесь отнюдь не иллюстративную значи-



мость, а вполне романную — художественную — плоть. Исторически достоверный регламент последовательности цветов сбит, краски плывут, доктрина взорвана. Алхимия как *Scientia immutabilis* («Наука неизменная») больше не существует.

Но черное как источник цветовых образов и видов остается. Зыбких, не зафиксированных видов и образов, пышущих внутренним, человеческим жаром. Жизненно-смертным огнем. Именно эта художественно произвольная, а не технологически-воспроизводимая материя актуализирует прошлое, вынуждая читателя проживать его заново как жизненно насыщенное настоящее.

* * *

Что получилось?

Убил доктрину в себе, исчерпав ее, и без того колеблющуюся, вовне. Прервал жизнь физическую, никогда не ощущая к ней вкуса. Потому что жизнь вокруг была для него без любви: он был «бездомен». И «бездамен» тоже — *всегда*. (Это все определения П. Антокольского). Еще сильнее: безлюбовен. И такой жизни, ясное дело, ему было не жаль. А только одной доктриной жить нельзя, как и просто жизнью — одному без любви.

Атеистический, и потому предельно честный и абсолютно бескорыстный акт свершился.*

* Работа выполнена при поддержке РГНФ и РФФИ (2004 г.)